

**НАТАЛИЯ
ЕЛИЗАРОВА**

**СТРАНА
БУМАЖНЫХ
ЧЕЛОВЕЧКОВ**



МОСКВА 2019

УДК 821.161.1-1
ББК 84(Рос=Рус) 6-5
Е 67

Иллюстрации Ксении Шимановской

Дизайн обложки Марины Николенко

Елистратова Н.

Е 67 Страна бумажных человечков / Н. Елизарова. — М. : Арт Хаус медиа, 2019. — 122 с.

Поэтичность, образность, музыкальность — достоинства стихотворений этой книги. Это своего рода лирический дневник-исповедь. Известно, что поэт — талант, личность, судьба. Талант у Наташи несомненный, из стихов вырастает умная добрая, чутко чувствующая людей и природу женщина, несколько интровертная. Судьба же — не в нашей власти (разве только отчасти), она еще впереди!

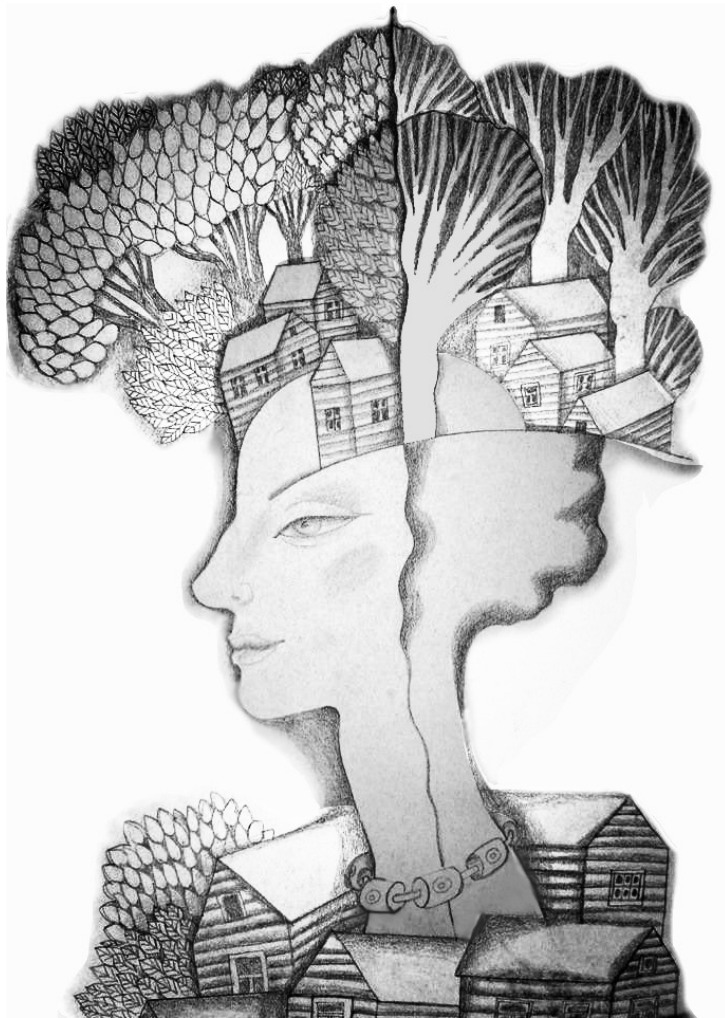
УДК 821.161.1-1

ISBN 978-5-9908945-7-0

© Елизарова Н. Текст, 2019
© Арт Хаус медиа, 2019
© Шимановская К., иллюстрации, 2019
© Николенко М. Дизайн обложки, 2019

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

**ПОСЛЕДНЕЕ
СОЛНЦЕ**



Мир Наташи Елизаровой — не побоюсь этого слова — положительный, или, как теперь говорят, позитивный. То есть это мир настоящей женщины, ибо именно женщине изначально присуще стремление к любви и пониманию. А жизнь, она полна боли, разлада, несовершенства. Поэзия для Наташи — упорное стремление преодолеть внутреннюю и внешнюю дисгармонию. Новый сборник ее стихотворений — цельный, убедительный, достоверный. Поэтичность, образность, музыкальность — достоинства стихотворений этой книги. Это своего рода лирический дневник-исповедь. Известно, что поэт — талант, личность, судьба. Талант у Наташи несомненный, из стихов вырастает умная, добрая, чутко чувствующая людей и природу женщина, несколько интровертная. Судьба же — не в нашей власти (разве только отчасти), она еще впереди!

Кирилл Ковальджи

Наталия Елизарова умеет говорить просто о сложном, ничего не упрощая и бесстрашно принимая действительность во всей ее полноте. Её стихи настолько искренни и точны, что выдерживают любую «прозаическую нагрузку», оставаясь стихами. Ей не надо прятаться в придуманные грёзы и романтические туманности, она мечтает, чтобы «хватило сил выйти из этой сказки к себе домой». «Домой — к настоящим словам и чувствам».

Геннадий Калашиников

Мне снится, что я сельский почтальон,
я вижу вновь и вновь все тот же сон:
в конце деревни — дом, за ним — крылечко.
Иду дорогой, а дома-то в ряд,
и ладно, боком в бок они стоят,
под косогором пробегает речка.
Конечно, в ней вода неглубока,
но мерно проплывают облака,
скользят в окне уже родные лица.
И рядом с домом — сад, а дале — лес,
в нем сосны — не солгу я — до небес,
спиной к ним смело можно прислониться.
А в сумке — письма. Ждут их, как зарю,
а если нет, обычно говорю:
«Придет, конечно, просто задержалось!»
А писем нет и нет который год.
Грибы в лесу, а в нашей речке — брод,
а писем нет и нет, такая жалость...

Прощаться на крыльце с последним солнцем
в кронах
и осени встречать озябшие плоды,
а птицы среди кустов, еще совсем зеленых,
стрекохут и трещат — поют на все лады.
И листья от меня уносит по дорожке,
ребенок и щенок бегут за ними вслед.
Мгновения того нет тише и дороже,
И ничего вообще дороже в мире нет.

На работу — лето, с работы — осень,
только юность была, а — гляди-ка! — проседь,
и ее, как осенние листья, сбросить
не удастся — запуталась в рыжей косе.
Мы грустим круглый год, но сильнее — к Спасу.
«А пойдем на спасительную террасу,
где шарлотка, и чай, и бутылка квасу!
Нас укроет деревьев сень».
Что грустить? Одинаково мир устроен,
ни один из живущих не удостоен
вечной жизни, и, как на работу строим
ходим ныне, так и падем.
Наливай скорее же чай горячий,
пожелаем друг другу любви-удачи
и прекрасный солнечный день на даче
у судьбы еще украдем.

Осень: зябко, сыро, в монастырь поеду,
за его стенами — и покой и благодать,
Сотню дам старухе и хромоту деду.
Солнце бьется в купол, светит на погост.

Каменные плиты — старые могилы
мхом давно покрылись, имена скрывая.
Напишу записку за ушедших милых:
бабушка, Надюша, Толя, дядя Ваня.

Свечи догорают... С маленькой иконой
говорю тихонько, глаз не поднимая.
Царь или крестьянин, пеший или конный —
каждый просит, чуда ждет от Николая.

И.Н. Крутнику

Я звоню ветерану, он не из нашей семьи,
он чужого отряда, полка, но того поколения,
где все те, что дорогой войны шли, — те звались свои,
и неважно уже — в отступление иль в наступление.

Я звоню человеку, ему скоро будет сто лет.
Он не помнит меня, хотя мы с ним недавно встречались.
Я звоню потому, что моих-то в живых больше нет:
дед убит на войне, прадед умер в санчасти.

Дед второй никогда ничего о войне
не рассказывал, только военные песни
пел, как выпьет, порою вполголоса мне,
а как я подросла, стали петь мы о летчиках вместе.

Но и он очень скоро покинул меня,
так война подкосила и смелых, и сильных, и стойких.
Ну, а тех, кто и выжил в пучине огня,
перетерли в муку жернова перестройки.

Не с кем спеть... Я же помню о том, что *«пора
в путь дорогу...»*, и пусть нас судьбина бросает
так далёко, как сможет, мы все умираем от ран,
но «Катюшу» споем угасающими голосами.

А я ее не помню похорон,
я не была — тогда была в Париже,
но резкий крик кладбищенских ворон
всё громче, и отчетливей, и ближе.
Под деревом — ограда и плита,
унылый быт отмеренного после.
Лишь ветру суждено перелистать
весь календарь, на холмик листья сбросить.
Останутся сухие даты две:
январь, июль. И жизнь — короткий прочерк.
Вороны-воры прячутся в листве,
и плачет дождь со мною и хохочет
над нами. Он ведь хлещет свысока,
промочит человечка и умоеет,
Останутся — прозрачны — облака,
И даты, поминаемые мною.

Морозовой В.М.

Отца забрали. Мы бегом в подвал,
к соседке — тётке Мане за оврагом.
У мамки после немец ночевал,
всё по двору ходил казенным шагом.

Убило Таньку. Бомба... Самолет...
Так быстро — оглянуться не успела.
Она лежит, и кровь по лбу течет...
Была сестра, а стало просто... тело.

Потом-то многих немцы извели,
на кладбище не узнаны могилы,
а у других — так просто пядь земли,
и не узнать, где милые погибли.

Мне часто снится 41-й год,
что я сижу одна в сыром подвале.
И Танька, и немецкий самолет,
и мне 16 скоро будет, Вале.

Открываешь окно, думаешь — листопад.
А в окне подсолнухи, поле, кружат стрижи.
Важен угол зрения, необратимый взгляд,
под которым смотришь и видишь: и вправду — жизнь!

Открываешь окно, вдыхаешь дождя родник:
в нем роса — что бусинки на траве;
летней мжицы бисер, ручья мимолетный блик —
долгих лет невозвратная круговерть.

Говорят, живое осенью устает,
засыпает, а если нельзя — грустит.
Осень будит слезы, даже те, что не в счет,
размывает дороги, разводит мосты-пути.

Дует в старые рамы, птицы в пути на юг,
сеет ситник, насморк — он тут как тут.
Там, где луг зеленел, проползал с бороною плуг,
в моей памяти незабудки весь год цветут.

Дожди уходят к лесу за рекой,
зима уводит осень на покой,
мне снится тот, кто впредь не должен сниться.
На подоконнике с утра синица
клюет зерно, а перышки дрожат.
Я также стыну, зябну от дождя,
и день кончается — еще одна страница.
И дух лежалых яблок на крыльце.
Какая в умиранье листьев цель?
Чтоб новые потом весной рождались?
Сомненье и тревога на лице,
А станем ли мудрее мы в конце?
Или, как листья, вызовем лишь жалость?
Читаем жизнь: абзац, еще один...
И вроде бы дожили до седин,
а главное еще не начиналось.
А главное... Давай поторопись,
иначе упадет последний лист,
и книга кончится.
А осень задержалась...

И приходило воскресенье,
и брались сапоги и нож,
и листья чавкали осенние,
и моросил предатель-дождь.
Кричали галки, зябко сгорбившись
на нижних ветках у ствола.
А в городе — там мокли голуби
у остановки, где ждала
тебя я, ну а ты опаздывал,
спешил и на ходу курил.
Запрыгнули в автобус сразу мы,
«Вот повезло», — ты говорил.
И долго-долго по проселочной
потом от остановки шли,
от шин следы тянулись «ёлочкой»,
знать, дачники «улов» везли.
И прятались грибы осенние,
мелькал мой жёлтый дождевик...
И проходило воскресенье,
как мимо — старый грузовик.

Куркино

Размытою тропинкой узенькой,
меж сараюхами двора,
я всё еще иду на музыку,
что, кажется, была вчера.
Был дом с наличниками синими,
за домом – стойла, огород,
загоны с овцами и свиньями.
Сновали куры у ворот,
и шли, вытягивая головы
и шеи, гусаки гуртом.
И тетя Поля разносолами
семейство зазывала в дом.
Под грушей, у забора синего,
у брошенных с зимы саней
печалилась гармонь Василия,
мы робко подпевали ей.
Кряхтя, дядь-Митя сено стряхивал,
неспешно лошадь распрягал,
от оводов ее обмахивал
и в стойло, что за домом, гнал.
Собравшись, девки на завалинке
смеялись, семечки грызя.
Мирок — такой худой и маленький —
забыть и вычеркнуть нельзя.
И про любовь — ромашку белую —
несётся, в воздухе кружа.
В Козловский лес с утра поеду я,
где все они теперь лежат.

*Жизнь хорошая, миссис,
и смерть хорошая, плакать не надо.
Анатолий Ким «Белка»*

Приготовься к главному, не жалея ни времени, ни трудов.
Послушай умных людей, вкусивших ее плодов.
Напиши две бумаги — завещание и список важнейших дел,
а потом живи во всю мощь —
проверяй свой физиологический беспредел.

Хочешь — учись танцевать, а хочешь — учись фехтовать,
эта простая наука, общая, — выживать.

Что запомнишь? Кораблик бумажный в ручье,
впервые пущенный самолет?
Самосвал в песочнице позабыли и клоуна.
Дождь идёт.

Никому не звони — напиши стишок,
если б можно словами — да Богу в уши...
Всё в порядке, всё в общем-то хорошо,
нажимай на *play* да сиди и слушай.
Эта музыка будет вечной, но
слушать будем не мы, а уже иные.
Мы останемся в старом немом кино,
будем рот открывать, словно те, живые.
И поэтому сядь — и сейчас пиши,
говори с одним и со всеми сразу,
можешь даже планов настроить разных,
Бога этими планами рассмешить.
Руку к трубке ноющей не тяни,
для тебя там выключен коммутатор.
Не забудь: ты сейчас не читатель, автор.
А вот жизни своей ли? Не в эти дни.

*У снящихся друг другу нет выбора...
Е. Изварина*

А мне будет сниться, и сниться, и сниться пустынный дом,
на темном колодце цепочка с пустым ведром,
поле выжженное и вдалеке — дорога.
Человек во сне мне встретится невзначай,
скажет: «Брось, постой, не руби сплеча.
Можно начисто, набело, заново все начать
у порога».
Говорю ему: «Человек, ты построил дом,
сына вырастил, дерево, что же идешь с трудом
да в другую сторону, ныне — стоишь столбом
да к двери спиною?!
Дом твой крепок и зелен твой огород,
только я вот — призраком у ворот
и нелепо свой разеваю рот,
немоты виною.
Человек, ты со мною лучше не говори,
зажигай свои вечерние фонари,
я свой сон досматривать изнутри
буду тихо.
Есть лишь ты, меня в саду твоём больше нет,
ну, прощай, уже струится в окно рассвет.
пусть хранит Господь тебя от побед
и от лиха».

Не жимолости голубое веретено —
бузинно-полынная горечь подле амбаров,
ветхих домов, где годы не метено,
окошко чердачное тонко исплетено
паучьей семьей, не спасшейся от пожаров.
В резные ставни, оконную голубень
пророс ядовитый вех, что твоя цикута.
На срубе сосновом в тених замирает день,
роса ложится, и сразу такая темь,
что хочется руки и плечи в живое кутать.
По долгой дорожке спускаться к темной реке,
на пирс ступать осторожно, пробуя крепость,
и отплывать, не удерживаемой никем,
и возвращаться в иную зрелость.

Бывают дни тугие, как тоска,
как будто странник перешел дорогу
с пустым ведром; студеную таскать
с колодца воду — утолить тревогу.
Крапивою ноги сечь, заноз щепу
всё глубже загонять и пальцы ранить
иголками; ленивое ку-ку
не узнает, не сохраняет память.
А если руки протянуть к воде,
зовет прохлада и течение манит.
Сегодня — нет, еще не быть беде.
И кто-то песню за рекой горланит.

Я любила тебя, как ногами уходят в песок,
утопая сначала стопой, по колено, по пояс.
Не моля пощадить и воды пригубить хоть глоток,
не стеля, о будущем не беспокоясь.
Я летала, поймет меня тот, кто когда-то крыла
расправлял и парил над волнующей бездной, ликуя.
Я свободно дышала, я пела, я жадно жила,
а теперь живу тихо и впрок ничего не взыскую.
Я любила тебя. Как волнение рук передать,
когда дверь отворяла тебе, обнимала за шею?!
Не умела тогда прогонять, ненавидеть и лгать,
ненавидеть и лгать — это я и сейчас не умею.

После драк не машут кулаками,
верных слов не ищут опосля.
Тихо спят с собаками-котами,
как младенчик светленький в яслях.

Всяк зверинец человеку благо,
зимний саван для него — чертог.
Это после — холмик и ограда,
а пока — прошедшего итог.

Сны дурные, в голову не лезьте.
Сыпь да сыпь, отрада — мой снежок.
Жизнь, не надо ран, ножей и лезвий,
так... уснуть... ведь тоже хорошо.

Птицелова город лежит от меня вдали.
Улетели птицы на юг, уплыли те корабли,
коим гавань стала тесна и широк причал,
ветер в бухте их грозно качал, бормотал-ворчал.
Птицелов не знает, как легки паруса,
как крепка корма — не видит птиц в небесах.
Насыпает зерно, наливает воду, куда-то идет,
время тоже идет.
Кто рожден летать, от восторга желает петь,
в море столько слез, в водах гуляет смерть,
бродит смерч, уносящий счастливые голоса.
Птицелов всё ждет кого-то, не помнит сам.
На рассвете якорь грузно падет на дно.
Под холодным небом птице летать одной.
А ногам ступать на солнечном берегу.
Может, здесь не лгут?

Врастать корнями в ледяное дно,
узнать судьбу поющего в пустыне.
Радеть о дальних, если не дано
беречь своих. Не горько и не стыдно
латать в ночи с прорехами белье,
кормить залетных птиц, котов приبلудных.
И прибирать, и украшать жильё,
и целовать любимого прилюдно.
Немилые, как много вас окрест,
как душно, как мне тесно нынче платье!
И тщетно ждать с утра благую весть,
душа ее — не сможет — не оплатит.

Это озеро-море создано кем-то свыше,
как все остальное в природе — по спецзаказу.
Я кричу: «Красота какая!» — а ты не слышишь,
и, куда ни глянь вокруг, — сколько видно глазу —
необъятный простор воды, и лесов, и неба,
катер мчит и прыгает — волны-кочки.
Брызги. Ветер. Свист. Обидно так и нелепо:
эту радость со мною ты разделить не хочешь.
Не умею маслом, акрилом, тушью,
не вместить величие в объективы,
не хватает слов... Ты меня не слушай.
Мне бы и целой вечности не хватило.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

ХОЛОД



А ему, наверное, хочется пирогов,
а она сидит на постели — спина строга.
Ей бы в Одессу, в Припять, в Могилев, во Львов,
ей бы отсюда — нагой — к чертям на рога.
А он говорит ей что-то про сломанный кран и засохший хлеб,
про работу на выходных, пожилую мать.
А у нее голова светится так, что почти он ослеп.
Больно даже дышать, не то что смотреть,
хочется броситься — погасить, сломать.
И он думает: может, ей завести детей,
ну, или, допустим, хотя бы собак —
пару шпицев, и с ними в утренний парк
выходить гулять, и, как у нормальных пар,
к вечеру будет более общих тем.
А она вдруг ложится на бок, сворачивается в узел тугой,
и лопатки корчатся, и волосы заслоняют лицо.
И вдруг спрашивает: «Может, завтра напечь пирогов?» —
Зная точно, что ни мужем не быть ему, ни отцом.

На рынке в Тарту купить зеленые носки
и птичку-свистульку с отбитым клювом.
На Ратушной площади смотреть на «целующихся»*,
думать о тебе снова.
Гулять вдоль реки-матери
и ыма-ыги** пытаться запомнить,
Еще: как пишется «баня, аптека и магазин»,
Потому что «университет» уже знаешь — *Юликооль*.
И ни слова о любви и нежности,
потому что любовь и нежность —
это — только на русском,
это — только там, где ты.

* Фонтан в г. Тарту на Ратушной площади.

** *Etajogi* — мать-река.

Всё говорит о нем: обычные предметы,
вещица, что лежит на краешке стола,
и вазочка вон та, и книжица вот эта,
подарок из степей — еще не отдала.
Я обернусь на звук: мне начало казаться,
как будто в дверь звонят, как будто телефон.
Как можно в тридцать лет внезапно обознаться
и кинуться в толпу: быть может, это он?!
На пяточке земли — заплеванном перроне
стоять в слепой толпе, глухой от бытия.
И поползти домой в светящемся вагоне,
где были я и ты, под нами — колея.
И шумный гул метро, где, слов не различая,
хватаясь рукой, касаешься щекой
и вот уже паришь над сирыми бичами,
над площадью Борьбы и над Москвой-рекой.
И из горнил метро толпа выходит к свету
и волочет меня к озябшим фонарям.
И улица вон та, и лавочка вот эта
тихонечко о нем со мною говорят.

И Дербентскую крепость, и покои Кашипы-короля
истоптала ногами своими, полземли исходила
и банальную фразу: «Пуста без тебя земля»,
словно птицу на ветку, — в строку посадила.

Омывала ненужное тело в водах семи морей,
ибо руки на что, если им не обвить твою шею.
Мой даргинский друг, мне еще коньяка налей,
на губах — вкус меда, в ушах — елей,
всё равно я жить без него не умею.

А вокруг холмы и горы, здесь сталь уют,
серебро чернят и делают пистолеты.
Мой короткий, временный мой приют
в это лето.

Козерожья зима настигает, ступает на пятки,
заставляет по дому искать на меху сапоги.
Не услышав вопроса, киваешь обычно: «В порядке»
и идешь на работу — с работы, печешь пироги,
вяжешь варежки... Врешь! Ты вязать не умеешь,
не научена многим простым, но и важным вещам.
В осень — липнет хандра, а зимою, конечно, болеешь,
что-то вечно роняешь и ранишься по мелочам.
Не с кем слова сказать? Снегири — погляди — прилетели
и сидят на рябинах и ягоды гордо клюют.
Обещают под тридцать мороз и метель на неделе,
Брось им крошек тогда или что там обычно дают?..

Хочется, чтобы с утра – мороз, чтобы ты пришел,
прямо с мороза, с утра, со снежинками на пальто.
Я бы сказала тебе: «Как хорошо!
Как же ты вовремя! Ну же, садись за стол,
будем пить чай и завтракать». И еще
я говорила бы что-то, не знаю о чем,
Ты бы легонько меня потянул за плечо...
Чай бы остыл, на плите подгорел омлет.
Я бы смотрела на снег — на тебя — на свет.

Сколько же зим, сколько долгих студеных лет
не замечает поземка забытый след!

А как же любовь?

— Я встречала её, поутру
капустницей легкой порхала она у постели.
И думалось:
«Если вдруг я внезапно умру,
закроет глаза и положит мне крестик нательный».

Но не умерла — были голод и холод, ворё
вторгалось в мой дом пожитья огрехами быта.
Любовь ускользала, проблемы пугали её,
а я понимала... и дальше чинила корыто.

Искала того, кто прикрутит сломавшийся кран,
починит машину и полку прибьет в коридоре.
Любовь сожалела, на грудь принимала сто грамм
и дальше порхала вдоль самого синего моря.

С тех пор я всегда по ночам закрываю окно,
чтоб бабочки — мимо и больше на свет не летели.
И я равнодушно смотрю на иголки в их теле
на стендах и полках в музеях, и мне всё равно.

Сколько можно уже умирать: распахни глаза
и послушай дождь за окном.
Это весна! — Ты чувствуешь?!
Важно не то, сказал он что-то иль не сказал,
всю свою долю он по сердцам кочует,
по домам чужим, по строфам, перекаати-
поле, такой вот он, переверни страницу.
А безысходности и тоски хватить
на троих могло бы, на пару жизней, посторониться
если б тебе тогда, в сторону отойти,
погулять у реки одной или с кем-то третьим.
Был бы совсем другой коленкор-мотив,
был бы иной конец этой повести,
если бы он прошел стороной и тебя не встретил.

По застывшему озеру, крытому корками льда,
ты идешь мне навстречу, только одна беда:
в легком тумане, в искрящейся белизне
словно не можешь ты подойти ко мне.
Кажется — шаг, и трону тебя рукой,
медленно падает снег, хрустит под стопой.
Губы обветренно шепчут: «Иди... иди...»
Каева льдинка сковала огонь в груди.
Встреча нема, как черная полынья.
Ждет она жертвы, пусть только не ты, не я.
Холод сминает волю, сжимает плоть:
глыбу прозрачного льда нам не побороть.
Убеждаю себя, что лед — это просто стекло.
Не уходи за обледенелый склон.

Я чищу снег, его здесь намело
на три зимы, и каждый в теплом доме
сидит, пьет чай, кругом белым-бело,
в мои остервенелые ладони
шершавый деревянный черенок
ложится, как последняя надежда,
весной когда-то прорасти он мог
и корни дать и быть побегом свежим.
Но вот зима, и стынет всё кругом,
собаку прямо в будке замечает.
Под белым пледом засыпает дом,
и мир под песню вьюги засыпает.
Гудят за перелеском поезда,
и вот в полях закат уже алеет.
Я ни о чем ушедшем не жалею.
Жаль разве, что твой поезд запоздал.

И уйти не уйдешь из судьбы не взаправду своей.
Видишь, клен облетел и безвременник ветер качает.
Недотрога-печаль подошла и стоит у дверей,
и, помимо нее, пилигрима никто не встречает.
Ощущаю рукою зарубки истертых перил,
вижу вещие сны — дождь едва заполощет по крыше,
ты приходишь сюда, ведь всегда я тебе говорил:
«Ноги нужно в тепле...»
Впрочем, что вам, явившимся свыше.
Хоть полслова побудь, хоть немножечко мне расскажи.
Улыбаешься ласково, дождь потихоньку стихает.
И рассвет... Для чего? Для чего я опять-таки жив?
И воюю с собой и с тобой непременно стихами?!

Из стылого дня в ледяное нутро постели —
свернуться, сложиться, словно тебя и нет,
и только лишь ясное слово-рассвет...
Но тьма и мороз и застывшие стекла на деле.
Бредешь наугад, только ветер колючий в лицо,
а хочется света, огня, теплой радости в доме.
Но ты одинока, как анахореты и вдовы,
и черпаешь сил в разговорах с Небесным Отцом.
Идешь через стужу, спасибо Ему говоря
за то, что дает испытания, вьюгу и ветер,
за то, что любимые так же вот мерзнут на свете
и мимо плывут в этом сумеречье января.

Каждый год примиряешься с февралем,
с белизной и холодом законным.
Так Господь задумывал мир, а в нем —
суть зимы ледяной подковой.
Скачет тройка в лес, а ты лишь блажишь вослед:
мол, зима год от года становится тяжелее.
«Холодно ль девице?» — никому и мороки нет,
девица стонет, стынет и вот — стареет.
Шаркая ботами, месит февральскую грязь,
пташек прикармливает, кошек бродячих жалеет.
Жизнь удалась? Ну конечно же, жизнь удалась!
Только бы смерть быстрее!

На дороге зимней — грязь, приглядишься — соль.
И наступишь трижды, а всё ж не оставишь след.
Эта боль в подреберье — только моя лишь боль,
этот отблеск случайный — самый надежный свет.
Притаиться задумаешь, тенью безликой стать,
в одеяла зарыться пуховые до весны,
обезличить барашков и досчитать до ста,
когда сын был маленький, были иные сны.
А сейчас только черточки, палочки и тире,
А сейчас только слезы смолы на сухой коре.

Где-то под левой твоей ключицей — дом,
слепо уткнуться и потерять ключи.
И ни к чему «почему», и незачем ни о ком —
надо же было так, походя, приручить.
Эта тропа на склоне, закате дня,
и отправная точка — твои следы.
Я задыхаюсь — не прогоняй меня,
лучше давай постоим у седой воды,
у ледяного зеркала. Тероблю
пуговицы и лацканы на пальто.
Тихо. Мороз. Дыханье твое ловлю.
Ни почему, ниоткуда и ни за что.

Я молю тебя: пожалуйста, приезжай,
Обними и ласково назови.
Ты не помнишь имени моего, а жаль,
Жалость — откровение нелюбви.
Ни одно такси не отвозит меня к тебе,
Ни один бульвар не ведет — искажен маршрут.
Линии на руке — вопреки судьбе —
Тоже уводят в сторону. Ложный труд
Здесь пытаться найти предвестников и причин,
Укорить, уколоть, уведомить, угадать.
Лишь количество долгих дней и на лбу морщин
Может лишить, а может и даровать.

Привези мне в шкатулке воздух, луну в горшке
и цветочек аленький — чтобы на ремешке,
чтобы носить на шее или же на запястье —
приносящий счастье.
Чудо-юдо-царь-рыбу-кита привези на уху,
с Дон Кихота мельниц вези муку,
самобранку-скатерть, золотой самовар
и прочую ут-варь.
А дворянкой или царицею быть не хочу,
привези коня, я в поле на нем промчусь.
Только б ветер волосы развевал!
Только б ты меня целовал!

*У меня к тебе наклон уст к роднику...
М. Цветаева*

Не объяснить словами
из нескольких букв
легкость имени на губах, вкус
улыбки, когда ты ко мне глух
и ни слова с твоих осушенных уст.
Глаз мой верен, раковиной ушной
я настроена лишь на одну волну,
я звучу тобой, я пишу иной
летописи листы,
и нет запасной
жизни, в которой пребудешь ты,
если я утону.

Я хочу забыть тебя, выбросить,
как изгоя в рассказе выписать.
Как остывшую воду выплеснуть,
на свободу, как птицу, выпустить.
Я хочу тебя выплюнуть, выдавить,
я хочу твоё имя выкрикнуть
громко-громко раненой иволгой,
только хрип мой не слышен издали.
Ты — мой сон, мой случайный вымысел,
нет и не было молодца, *гой еси*.

Эта жизнь за окном, эта осень, и кухня, и свет —
бутафория быта, в котором обоих нас нет.
Ни имен, ни историй, ни планов, ни даже теней.
Обними меня, если ты здесь, защити, обогрей.
Паутина словес приникает и душит, звеня.
Этот новый рассвет отнимает тебя у меня.
Территория света болезненна и широка.
Я пройду по мосту, если только удержит рука.
Этот радужный мост — мой лесной, подвесной, расписной.
Отчего же желание жить умирает весной?
Но и осенью целы, собираем в копилку тепло.
Не смотри за окно, там светает и в лужах стекло.

В ресторане «Мята» — маленькие чайнички
и чай с чабрецом.
Мог ли ты стать *ему* хорошим отцом,
Ей — надежной опорой в участи женской?
Это неважно уже. Официант с помятым лицом
как-то брезгливо протягивает мне пальтецо.
За окном – Новодевичий,
мне — в угловую башню:
сердце, бешено колотящееся, — сбросить с нее!
А если кто-нибудь спросит внизу о сердце:
«А это чье?» —
Отвечать: «Ничье»,
и это уже неважно.

Уступлю тебе ужин, ведь ты как-никак мой гость.
Наконец покупать научилась один кусок —
мяса, рыбы. «Ну что ты, какой там пост...
и мучное ем, и после шести часов».
Говоришь, похудела, и голод сквозит в глазах...
Мы с тобой не виделись, кажется, сотни лет.
Что б ты сейчас ни выдумал, ни сказал,
в этом ни правды, ни смысла, пожалуй, нет.
Так давай, доедай эту рыбу, вспори ее
острием ножа, чтобы выпотрошить икру.
Ну а я разложу диван, постелю белье,
обниму тебя крепко, а после... все уберу.

Вечерами приходит черная курица,
подбирает крошки,
отбирает зерно у птиц,
оставляет на подоконнике след трехпалый.
Если тебе вдруг приснится страшное,
буду держать тебя за руку,
сказки сказывать,
гладить по голове.

И ненужность всей бренности бытия,
и бессмысленность позы, ненужность фразы,
коль не вымолвишь бережно: «Ты — моя...», —
не обнимешь меня ни разу.
С боем старых, оглохших стенных часов
становлюсь обрюзгшей, седой кукушкой,
забываю песни, не вижу снов,
просто рядом будь и гладь по макушке.
И бессмыслицу мерную бормочи,
притчу долгую — ей ни конца ни края.
Ранку — лучше йодом, нельзя мочить
день, и два, и месяцы — я-то знаю.

Дело даже не в ней, не в тебе, не во мне, а кроме
сущей нежности, сжавшейся на ладони,
тихой жалости, словно от вида крови,
и озноба, будто от сквозняка,
ничего не сыскать: брожение и пятый угол.
Я, быть может, — невнятно и даже немного грубо,
но когда я целую тебя всего, обжигая губы,
то меня отпускает безвольно твоя рука.
Говорю с тобой поутру, опускаясь в вечер,
обнимаю тебя так крепко при каждой встрече —
так, что ноют грудь и руки, и только плечи
все выносят, выдержат и теперь.
Открываю рот, словно рыба в момент удушья, —
слов так много, но разве кому-то нужно,
чтобы вслух... А в комнате снова душно,
отвори и окно, и дверь.
Пребываю с тобой в абсолютном земном покое,
не могу до конца понять, отчего такое.
Просто знаю, что, если нас снова двое,
остановится дрожь в руках.
Вижу ясные сны, просыпаюсь под птичий гомон
легкой Евой — счастливой, усталой, голой,
и люблю этот праздный, беспечный, ущербный город
и подушки две в васильках.



ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

МАЗУРСКИЙ ЗВЕРЬ

*Без памяти твой воздух...
А.Тарковский*

Памяти нужно жирное вещество,
свежее мясо, злаки для молотьбы.
Ветви-раздумья ее обвивают ствол,
гулкой лесной стеной восстают дубы.
В роще ее заблудиться — уйти, пропасть.
Воздух беспамятен твой, и тебе равно —
держишь концы и повелеваешь власть
или глядишь ее, как старик кино.
Воздух прохладен, сипл и почти что дик,
легким уже не справиться с немотой.
Мучим и учим и верим в один язык.
Кажется мне... Я, кажется, не о том...

Идол будет разрублен стальным острием топора,
не глазеть, не лупиться бесстыжим глазам ургалана.
Отстругать все чужое, пустое настала пора.
Что мертво — ошкурить, чтобы вспыхнули новые раны.
По коросте, по шрамам нежнейшие пальцы скользят,
от щекотки мурашки бегут по бедру под колено.
Ты не можешь назад, нет, не смей отклоняться назад,
превращаться обратно в тупое, немое полено.
Ты скрипишь, как весло? Ты не знаешь, куда тебе плыть?
Но вода-то мудрей и щепу унесет и омоет.
И не надо строгальщиком, краснодеревщиком быть,
чтоб сучок ухватить и судьбу просчитать за обоих.
Валит слабость в коленях, жестока телесная хиль,
и не дуб, и не бальза, а только щепа и заноза.
Подожди, осмотришь, пережди этот внутренний штиль.
Идол будет разрублен, сождем его, если не поздно.

*А.С. Якушеву
Плод же правды в мире сеется у тех,
которые хранят мир.
Послание Иакова 3:18*

У Иосифа — мужа Матери, но не Отца
был Иаков-сын, но веры не было у сорванца,
плотничать учил Отец его, а толпа — судачить.
Добрый плотник — якуш — звался в те времена.
Он в копилку умений забрасывал семена,
на размен отдавал имена, получал медяками сдачу.
Только после, когда вознесся Христос,
изрубил он лес, поставил огромный сруб,
приводил людей, кормил словами из рук,
нес им хлеб и веру им нес.
Что есть правда? Вера, помноженная на кулек надежд.
Брат стоит на горе в сиянии белых одежд,
он отчетливо видит Его, а другие — проходят мимо.
Кто с мешком за плечом, кто — с киркою и кирпичом,
а калики — в лохмотьях, не думая ни о чем,
и стыда не имут.

Не доехав в Печоры и до Соловков,
не стяжав чужой и лихой судьбы,
гладишь ветер ладонью — он был таков,
а вокруг — ристалище, общий быт.
И покуда ближний, подняв копьё,
всё окрест глазеет, куда вонзится,
ты тревожный воздух глотками пьешь
между сменой лютых, постылых зим.
Это — Русь, это — светлое место, где
между тьмою и сумраком — узкий лаз,
где и ветер воет в трубе — к беде,
где так яростен свет для глаз.
Где усталость — не повод «не быть в строю»,
где о счастье: «Слышали, где-то есть»,
равноценно, что плюшевый кот-баюн
вдруг заглянет на кухню, попросит есть.
Где и правым, и левым — одна стезя,
от дебатов выпренных проку нет,
где не любят прямо смотреть в глаза
и прокурена тень тенет.
Отчего же на старом, кривом мосту
каждый раз замедляешь свои дела,
снизу — рельсы, ползущие в пустоту,—
в те края, где сажа бела.

Мазурский зверь — он дышит под водой,
на дно ложится, и еще бедой
не веет в камышах шершавый шепот.
Мелькают в водной глади облака,
закат кренится озеро лакать,
и тянут сосны иглы — небо штопать.
Но зверь не спит, едва его ноздрей
коснется дух иных живых зверей,
он ринется в движении мгновенном,
сверкая медно-рдяной чешуей,
взвивая тучи-крылья над землей,
поднимется — и кровь застынет в венах.
Тебе не избежать его когтей,
в колонке ежедневных новостей
появится сенсация, и снова
спокойна гладь озерная, тиха,
и только в песнях, сказах и стихах
останется о чудном звере слово.

Медной монеты мельканье меняет суть,
сутки еще, и ствол бытия — под срез.
Зерна отборны, но в жатву — всё та же муть.
Бедному кажется снова: богат, как Крез.

Тени мелодий рассудок уводят в тень,
мечешься, маешься — солнца чужой зенит.
Солнечный длится безумный полярный день,
и колокольчик в повозке звенит, звенит.

Юле

О, диковинной рыбой в серебряной чешуе
ты ныряешь в озере, балуешься в ручье,
дышишь жабрами, рот открываешь, плещешь хвостом,
думаешь не о том.

Ах ты, рыба дивная, дева-мечта,
красноперкам, жереху не чета,
Не удить тебя, не выловить в роковую сеть
и царю не съесть.

Предки твои кистеперые, не вышедшие из воды,
затаились, в голубые заплыли льды,
спрятали свои эмалевые бока:
жизнь хрупка — избежать садка.

Полуслепые светящиеся их глаза
режут толщу вод, утягивают назад —
в эру девонскую, в погибель для рыбака.
Горняя глубока.

Ты мечтой ихтиолога вернулась из небытия,
миновав уловки, избежав острия
пилькера, джигга, яруса и копья,
всё одно — ничья.

Так плыви, скользя сквозь радужные струи,
не заглядывая в полыньи, обходя буи,
на пучины дивной галиматъи разевая рот,
всё равно — вперед.

Я Марфа-Мария, зовут меня девушкой-птицей...

З. Коцич

Да не будет птицы, не парящей в небе

З. Коцич

Дева с глазами тревожной птицы,
легкая, словно тень,
трубчатых ее костей
невесомость неслышная.

Тише! Тише! Она
в вечное влюблена,
в ясное, недостижимое...
Мята и жимолость
светло цветут —
синильга и ленита,
успокоенье разлито
в воздухе...

Истина — только услышь!
Зримое — только смотри!
Видимо изнутри
внешне неочевидное,
взглядом неуловимое,
смотришь в себя и молчишь...
Коли чиста слеза
в струях подземных вод,
сможешь — отыщешь вход,
станешь под образа.

Птаху держа в горсти,
молвишь — лети и пой!
Время пришло платить,
время — дано — простить,
голос услышат твой.

*И говорит, что надо быть скромнее и проще.
А зачем — не говорит.
из письма*

Век 20-й скуп был на подарки —
бойся и трудись.
Если хочешь целоваться в парке
и фонарик ввись
запускать, то будь готов к ответу —
штрафу и статье.
«Обнаглели, да на вас управы нету!» —
голос, память, тень.
Надо быть скромнее, проще, тише,
только «нет» и «да».
Слышишь писк? Повылезали мыши —
серая орда.
Не сверкни случайно, не оклики
темное пальто.
Тень двоится, оползает, никнет,
голоса валторн
проникают в комнату, как будто
тридцать лет спустя
ты глядишь в окно —
и жизни утро.
Ты — дитя.

Летящий снег успеть заморозить,
чтобы соткать салфетки кружевные.
И просто есть на них, и просто жить.
И яблоки наивно-наливные
бросать в сугроб и видеть, как лежат,
теряя яркость жизни уходящей.
И руку до суставной боли сжать.
Зима. Сугробы. Фрукты. Длинный ящик.

Тело ма-аленькое, и маленький нужен гробик.
Помнишь, ты рисовала ромбик
в первом классе мне, треугольник и круг.
Не забуду больных твоих рук,
пальцев растрескавшихся, ложившихся мне на шею.
Столько умею уже! Столько могу!
Лишь не забыть пургу,
окаменевшую в минус тридцать могилу.
Милая, когда ты махала мне из окна,
навалившись на подоконник
(не доставая ногами пола),
я верила, в мире есть маленький пони,
чудный, волшебный пони.
Бегал ли он в твоих снах?

В списке ушедших становится больше имен,
список живых, увы, нестерпимо краток.
Клен облетел во дворе, из моих тетрадок
памяти книгу сложи и, когда ты нем,
то есть когда слова и горьки, и смысла
не добавляют к горечи, что внутри,
просто открой — и на строчки мои смотри,
а между ними читай — осторожно — мысли.
Мало любила людей, но всегда — насквозь
и в лобовую, вдребезги — на осколки.
Под руку тронешь: «Здесь осторожно — скользко».
Вместе — надежно, но всё же придется врозь.
Ты не сжигай этих тонких черновиков,
ибо тогда кто расскажет тебе о лете,
о кузницах в траве, о втором билете...
Поезд в семнадцать: Москва. Ленинградский — Псков.

В мире разбилось стекло негромко.
Бьется, где хрупко. Рвется, где тонко.
Не запасешься сухой соломкой,
ссадин и синяков —

не сосчитать. Как крутить педали —
помнишь? Думала ты едва ли
о синяках: только б не догнали!
Мажем? Без дураков?

Резво к обрыву вперед слетала,
сочно по спицам трава хлестала,
ветер в лицо, и дыханья мало,
ноги скользят в росе.

Ты на лету привстаешь с сиденья
и напрягаешь еще колени.
«Вот вам, плететесь там еле-еле!»
Ты одолела всех.

Что же сидишь на полу босая?
Вздрагиваешь, если вдруг басами
гукает радио: будет саммит,
кризис, развал, дефолт.

Страшно тебе? Ни черта не страшно,
а за окном завершают башню,
да, из стекла и бетона башню —
яркую, словно торт.

Ну и не плачь! Стеклодув-приятель
вдруг завернет в переулок кстати,
вылепит, выдует сей квадратик —
будет тебе стекло.

Встань и иди, да попутный ветер!
Солнце слепит, а не то что светит.
Не забывай, что живешь на свете,
ждет тебя новый склон!

Нет Руси больше Киевской, сколько ни голоса,
брат на брата идет, как Ольга — мстительно — на
древлян.

Как глядеть с надеждою в неба синь,
если стреляют, Господи, у Кремля.
Возвращаться домой в темноте, от себя отпускать детей,
в двадцать первого века садиться пустой вагон.
Жить в бездушье, неверии, немоте,
задувать огонь и вновь разводить огонь.
Пеплом голову — прожито, также не сбережешь
ни рубля в стекле, ни Спаса собор в Кремле,
но Царь-пушка выстрелит, и промчится земная дрожь,
и появятся трещины в императорском хрустале.

*И участь не имеет предпочтений.
А. Зарахович*

На безрыбье рыба даже ты, Человек.
Раздуваешь ноздри и плывешь карасем.
Сверху сбросят поплавок — вот и всё!
В ведрышке потащат на брег.
И захочешь, как на духу...
«Не карась я, слово — плотва».
Чистят рыбу, засучив рукава,
на засолку и на уху.

Когда уже не спасешься оксолиновой мазью и компрессами на лицо,
когда мы теряем матерей и отцов,
становится ясно, что время движется невозвратно.
Всё глубже провалы глаз и морщин излом,
и с зеркалом — этим жестоким стеклом —
столкновение мучительно и неприятно.
Люди страшатся старости — немощи и нищеты,
когда тебе двадцать, кажется, только ты
никогда не умрешь, останешься неизменно
с этой дивной — оттенка ореха — копной волос,
в тебя не проникнет ржа, не пройдет насквозь
игла, яд не потечет по венам.
Представь себе дни, в которые сгинут те,
кто дорог тебе. В мучительной пустоте
оглянешься — ни столба за тобой, ни дома.
Ты вырос вдруг, но взрослость тебе солона,
и хочешь иль нет, но ты ощутишь сполна
ее, и никак по-другому.

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ

**СВЕТОВОЙ
ДЕНЬ**



*Татьяне Никольской
Века и века уग्रомо шумит Ниагара
Г. Адамович*

Американский цикл

1. Ниагара

Убежав от себя за тысячи верст и миль,
забывая заботы и радостями рискуя,
открываешь огромный и необъятый мир,
приникаешь к нему и шепчешь: «Как ты мне мил,
ненаглядный мой, яркий...». Да что я, ей-богу, все.
Эта влажная ширь и уже неродной простор
принимают тебя, слепое дитя, в объятья,
без нелепых обид и частых паршивых ссор,
как девчонку-соседку в простом некрасивом платье.
Ты теряешь себя, а кажется, что летишь,
ты вернешься к себе — чуть позже и чуть иная,
слышишь мерный плеск, и в мире такая тишь —
я внутри давно такой тишины не знаю.
Ниагара шумит безропотно и светло,
воды рушатся вниз бесстрастно и равнодушно.
Замираешь — и не хватает слов,
ну, а слов уже и не нужно.

2. Портленд. 4 июля. Печально-юмористическое

Ждешь салюта, а попадаешь под дым,
даже если и кажешься себе молодым,
то лишь полчаса, пока не споткнешься о чью-то ногу.
И люди, лежащие в мусоре на земле,
отвратительны и тебе, и мне,
а я вовсе не строю из себя недотрогу.
Марихуана их бог, и нечего им пенять.
Пойдем отсюда, лучше послушай меня:
поедем в розовый сад и всё это забудем.
Мы будем вдыхать ароматы ста тысяч роз,
и музыку слушать, и книги читать всерьез,
а травку курить никогда ни за что не будем.

3. Аляска

Световой день здесь длится всего четыре часа,
народ не выдерживает — сваливает на Гавайи.
Удивляет обычно то, что увидел сам,
будь то гризли или тропические леса,
главное, чтобы глаза не уставали.
Чтобы ноги носили, ну или хотя бы шли,
перевод курса доллара на рубли
не дает ничего, кроме постоянного стресса.
И, уже не считая и не переводя,
пьешь вино и виски по-хо-дя,
пролетая тайги километры — сплошного леса.
Березку карликовую обнимешь одной рукой,
другая пустой останется – не знаешь, куда пристроить.
Людей — никого, озера, леса и надмирный покой,
который с собой не взять, нужно просто усвоить,
вобрать в себя, уложить и сберечь внутри,
потом в шуме города — в его беготне и пыли —
голову вдруг поднять и сказать: «Смотри!
Видишь эти сияющие фонари?
Как на Аляске, где мы лишь недавно были».

На площадке кто-то варит щи.
Смысла в этой строчке не ищи,
просто дни бессмысленно длинны...
Это детство доброе мое —
свежая капуста и бульон
на говядине, потом ее — в блины.
В фарш добавит бабушка яйцо,
а одно — из рук и об пол — цок.
Шепотом: «Безрукая фарья!»
А потом вздохнет и замолчит...
(Сколько можно неучей учить,
где текут Амударья и Сырдарья.)
Атласы и карты — целый мир,
и пусть дважды я летала в Рим,
а она ни разу не была,
значит — за себя и за нее —
ту, что гладила мое белье,
фартуки стирала добела.
То, что обещала мне тогда, —
страны, океаны, города —
я теперь воочию смотрю.
Я стою на улице другой,
в городе другом и дорогой
бабушке «спасибо!» говорю.

Зеркала отражают паутину ранних морщин,
и взросленье чужих детей, и триумфы чужих мужчин,
и чужие дали, и выси, и глубину,
и твою вину, только твою вину.
Светлолика поверхность — амальгама иных широт.
От нее не укроется то, как кривится рот
и как выглядит будущее, спрятанное в зрачок,
но заброшен невод, крючок, сачок,
паутина соткана, на стреме стоит ловец.
Так пастух загоняет стадо своих овец,
так хозяйка зазывает гусей с пруда,
где растут стеною крапива и лебеда.
Так прохожий путник вглядывается в темноту,
так поэт катает слово-голыш во рту,
так ступает время на большую твою мозоль.
Отойди от зеркала, глаза не мозоль!

Уведи меня в Питер, судьба,
напиши на полях,
что не надобно мне ни дворцов, ни палат в янтарях.
Что достаточно парков, музеев, соборов, Невы.
Если долго душа не поет — мы мертвы.
Разреши мне по Летнему саду почаще гулять.
Подари мне людей, что беспечно полюбят меня.
Я, наверно, наивно-смешная и много прошу.
Начертай — только мой — абсолютный маршрут.

Отсидишь целый день на работе,
оттоскуешь по жизни своей.
Снова дни приближают к субботе,
а субботы — к кончине твоей.
Счастье бьется испуганной птицей
за закрытым на зиму окном.
Отчего же тебе не сидится
в теплом доме, пичуга-девица,
и щебечешь ты все об одном.
Всё мерещатся дальние страны,
и моря тебя гулом зовут.
Эти мысли нелепы и странны.
Ну какие моря-океаны?
Это жизнь: просто пряник и кнут.
Ну какие вершины — глубины?
Ну какая Сибирь и тайга?
Ледники, ледоставы, лавины...
Да о чем ты опять, пустельга?
Всюду дел непочатая чаша,
всюду морок, унынье и стыд.
Кто крылом напоследок помашет?
Кто оплачет, отплачет навзрыд?

Брошу работу, уеду на Монерон,
построю маяк, чтобы он собирал корабли
в ореол света; буду читать и считать ворон,
то есть нерп и сивучей, до земли
будет далеко — путь перелетных птиц,
тысячи мыслей и сотни тревожных дум.
В памяти тени знакомых, но позабытых лиц,
чтобы я вспомнила, чтобы очнулась — ждут.
Горной гряды громада, воды простор,
впадины гротов, низких небес сквозняк.
Ну отчего без вас жила до сих пор?
Брошу! Уеду! Да будет, да будет так.

Мне 35, я — сохнувшая ветка
у дерева, что поливают редко,
и некому тут почву удобрять,
окапывать — давно ушел садовник,
сам по себе округ цветет шиповник,
весна, и в Божьем мире — благодать.
Я напрягаю внутренние жилы,
Чтобы весной воспряла ветка к жизни
и напиталась соками ствола,
набухли чтобы почки и к апрелю,
как на других, еще живых, деревьях
здесь распустилась яркая листва.
Ветшает всё. И этот парк старинный,
скамейка, а под ней – суглинок,
что на сандалях мальчик унесет,
останутся офортом, акварелью,
сансином, саксофоном и свирелью,
Унынием с печалью в унисон.

ДОЧКА

I

«Злая ты, — говорила Оленьке мать.
— Не обнять тебя, не выдержать, не сломать.
И когда беды-рыбы твой пропарывают живот,
лишь кривится в усмешке рот».

Отвечает Оленька: «Доброй быть нисколечко не хочу,
и ходить не к врачу, а по ласковому лучу.
Внуков-ежат хочу тебе нарожать,
а потом колотья о них — на руках держать».

Разворачивается Оленька и идет от матери прочь,
потому что с детства она ни на что не годная дочь,
растеряла всю нежность, что учили не проявлять,
и хотелось бы мать обнять, да руки дрожат — не унять...

II

Он говорит: «Ты — моя дочка, ты — моя птичка,
радость лет моих, нежность рук моих, красота...»
А она уворачивается, съезживается, дичится,
хочет невидимой или прозрачной стать,
смотрит стоит — насупившись, исподлобья,
локоны светлые падают на глаза.
Сколько их было — грабель или оглобель,
что так озлобили детство твое, егоза?
Долго теперь тебя по перышкам гладить,
с клювика кровь смывать, лечить следы от колец.
Ради тепла и нежности, только ради
слова простого, единственного — «отец».

Все это – сор и грязь, содом и сор,
и солнца диск треклятым колесом
опять с утра повадился катиться.
Страница так прохладна, так бела,
Икар уже пожег свои крыла,
Дедал ослеп и на земле томится.
Пусть отраженье в озере соврет,
и хрустнет снег, и белка — в свой черед —
отпустит ветку пустоте навстречу.
И где ее предел, ее рубеж?
Один молчит, не размыкая вежд,
другой пройдет — не нужен, незамечен.

На улице ста колодцев* совсем темно:
на ощупь идешь к двери и включаешь свет,
и он обнажает всё, чего больше нет,
он с пасмурным вечером, видимо, заодно.
И лампочка гаснет — вдребезги! На плечо
садится комар и душу твою сосет.
И нужно тихо выдохнуть: «Вот и всё»,
ведь белые ночи точно наперечет.
И светлые дни, и дружеские слова,
когда ты не то чтоб в мире не одинок,
но просто не помнишь — держится между строк.
А, в общем, знаешь, конечно, как дважды два.
Неважно, сколько сегодня придет гостей,
вы будете спорить о Боге и пить вино.
И кто-то скажет, как много тебе дано,
а после ты тихо ляжешь в свою постель.
Замкнется ловушка — цветная коробка стен,
и будут седаны подвески свои сбивать
на улице ста колодцев, твоя кровать
летит в пространстве, в вечности, в пустоте.

** Когда я переехала в Москву в 2000г., улица Мытная звалась в народе «улица ста колодцев» по количеству канализационных люков на проезжей части.*

Чистят дворники снег по ночам.
Да, такого давно снегопада
не бывало. В предутренний час
ты — свидетель греха и распада.

Вот стена в человеческий рост
грязно-серого мятого снега.
Вот таджик, набирающий горсть
крупной соли и сыплющий слева
и направо, все наши пути
солонь, и от Мытной до Тульской
снежной кашей соленой брести
вдоль дороги нечищенной узкой,
целиком занесённых машин,
единичных светящихся окон,
одинок — нетрезвых мужчин,
запоздавших домой ненароком.

Мимо рынка, трамвайных путей,
светофоров, мигающих жёлтым,
круглосуточных баров, аптек
и забытой, неубранной ёлки.

Потоптавшись на станции ЗИЛ,
погрозив электричке вдогонку,
волочешься домой по грязи
и вздыхаешь — бессильно и горько.

Я видела черную рыбу в лоне реки,
не ту, которую караулили рыбаки,
не ту, для которой наживка есть и добротна снасть,
не словить — не съесть такую, поплыть — пропасть.
Она шевелила огромным своим хвостом
и воздух ловила бездонным, беззвучным ртом,
плыла от людей в виденья свои и сны,
плыла от студеного лета в пруды весны.
Плыла от меня в невиданные края —
туда, где у жителей черная чешуя.



ПЯТАЯ ЧАСТЬ

**ПОЧТИ
ЧТО
МАРТ**

Мальчик делает человечков из туалетной бумаги,
в человечках много отваги:
они могут даже пойти на войну
или пойти ко дну.
Человечки множатся, их уже тьмы и тьмы,
они могут долететь до Луны
и даже высадиться на Марсе.
Пушистый домашний Барсик
лапой легонько стряхивает их со стола —
жизнь по пути иному пошла.

2010

Торфяники горели и леса,
шел год десятый нового столетья,
тогда грибная лесополоса
нас отделяла от всего на свете.
Мочили полотенца и белье
и окна занавешивали, маясь:
с кровати — на пол, хлопок или лен
нас не спасали, проще выражаясь.
мы задыхались в Дантовом аду,
мы ползали по городу и полу,
и старый дом был ненависти полон,
с жильцами со второго не в ладу.
Он — памятник, он помнит пра- и пра-:
Тамару, Риту, Ольгу и Ивана,
сестер, которые вставали рано
и пили чай с галетами с утра.
Теперь вот мы, иные. Стонет дом,
он в наши разговоры не вникает,
поэтому легко в былое канут
все те слова, что нахожу с трудом.
И замолкаю, наливаю чай,
но взгляды — давних всполохи пожаров.
Черты друг друга изучаем жадно
и обжигаем губы невзначай.

В квартире этой жили у черты
беды, но были с ней на «ты»,
накоротке — веревочке в сортире,
на двух ногах, что толком не ходили.
Здесь мыли пол и протирали пыль,
в трельяже старом прятали бутыль
со спиртом — ставить банки при простуде.
Гостей сзывали, накрывали стол,
и был уют отраден и тяжел,
в квартире их всегда бывали люди.
Одна блины и пироги пекла,
другая здесь сидела у стола
и в пироги готовила начинку,
потом селедку резала, и вот
настал последний високосный год,
и небо, как говорено, с овчинку.
Хотели елку ставить в декабре,
дыхание запнулось на заре
(уже на стол продукты закупили).
Скорбящая не дождалась тепла,
а жизнь рекою дальше потекла.
И люди ели, пили, ели, пили.

Был Новый год, один из тех еще,
когда по глупости ждала,
что мама скоро станет тещею,
я окончательно сдалась
на суд твой, выбор, поругание,
на голубые огоньки,
что на деревьях и на зданиях,
на тяжесть и тепло руки,
на взгляд твой — без очков — растерянный,
на голоса гортанный гул,
на рай, что в шалаше иль тереме,
на ветер, что рябину гнул.
И я качалась, словно пьяная,
земля спешила к январю
слепой Снегурочкой румяною
по снежному календарю.

Кузема В.И.

Она позвонила с утра.
Говорит, я так рано встаю,
каждый день очень рано.
Сейчас вот чаю попою,
достану печенье.
Старость — одно мученье.
Перелью бульон в ковшик,
остаток — в чашку,
выпью потом
(старушечьим дряблым ртом).
Называла меня Наташей,
путая с дочерью старшей.
Я, говорит, здесь всё время —
то в кухне, то в комнате.
Помните близких, пожалуйста, помните,
как помню я серое платье ее, брошь
и голос скрипучий-певчий,
румынскую пасху, торт из безе, картины,
крутящийся круглый стул около пианино,
это всё было, было...
Я, говорит, плохо слышу тебя, но ты мне еще звони,
долго тянутся дни
мои — на работе, ее — в квартире,
жизнь проходит пунктиром
по нам...

В доме на набережной очень светло,
в доме на набережной пекут пироги, накрывают стол,
«Катенька, помоги достать посуду, вилки, ложки, ножи!
Салфетки на стол положи!»
В доме на набережной птицы чирикают и свистят,
в доме на набережной поздно ложатся, а утром спят.
Медленное пробуждение, кофе, халат с запахом,
в доме — запах ириса, иногда — майорана,
когда нервно и странно,
и, кажется, жизнь вытекает в реку, что за окном.
Дышит тревожно дом.
Лоб охлаждается о стекло.
«Знаешь, Катя, любое зло, горе — они проходят...»
Гости в проходе
топчутся, ищут тапочки, что-то галдят.
Оглядываясь назад,
видишь лишь череду елок под Новый год,
меняются лишь игрушки на ней —
больше или меньше огней —
бытия хоровод.

Жили без Турций - Египтов: дача и лес за калиткой,
вин итальянских не пили, все больше водку
или настойку на клюкве — свою, что в бутылке липкой
тихо стояла в серванте, а рядом — стопки.
Свечи оплывшие каждый год зажигали
и убирали в ящик, туда же — скатерть.
Так и лежали они и курантов ждали,
тостов за «новое счастье» (всегда некстати).
В Пасху встречались на кладбище: птичий гомон,
карканье тучных теток, золовок, братьев.
Жил да почил — вот и все этих мест глаголы,
крашены луком яйца совали сватьи.
А про войну зачем? Вспоминали редко:
«Нашу деревню тогда под Москвой бомбили.
Танька по полю бежала со мной, соседка.
Я вот жива, ну а Таньку тогда убили...»
«Ну а отца забрали. Да, на допросы.
Очень боялись мы, думали, расстреляют.
Долго тогда стояла сухая осень,
плыло по небу облако с журавлями».

Жизнь замирает за вами и глохнет,
пульс замедляется, рвется струна.
Славные, милые, добрые окна...
— Дай мне еще посидеть у окна.
Вдруг мне достанется солнечный зайчик
или вечерний мерцающий свет.
Только закат неизбежен, и, значит,
времени нет.
Небо слезится, дорожками капли
лягут на стекла и скатятся вниз.
— Окна до Пасхи помыть бы, не так ли?
— Только сама не тянись!
— Нет, не смогу, я тянусь уже выше,
скоро взойду по лучу.
Прямо в окно.
Слышишь: музыка? Слышишь?
— Слышу, — едва прошепчу.

Какой-то смутный, страннолицый день:
и дерево в окне, и снег в апреле,
все здесь мы словно разом заболели
туманным гриппом. Несколько недель
назад казалось: желтое на белом
согреет нас, но синеватым мелом
отсвечивают и окно, и дверь.
И старый доктор ходит по подъездам.
Увы, прививки нынче бесполезны:
то грипп свиной, то серый ящур-зверь.
Мы боремся: с давлением и сплином,
с дождем и снегом, с корью и ангиной
и даже с ростом цен на ЖКУ,
продукты. Только серость заедает,
постится кто-то, кто-то заедает
тоску.

Марии Серовой

Холодом дышит город. Ночь. Ледоход.
Ледяной ветер гонит холодные глыбы.
Они сберегли пианино в немыслимый голод-год,
в блокаду не жгли картины, а вы смогли бы?
Они не отдали дома, друга-ворога, серый камень
которого уходит по колена в Неву.
Правда, сожгли Гете и Шиллера своими руками,
чего простить не могу, но понять могу.
И вот на этом стуле с зеленым войлоком
крутится девочка, долбит-мучает Генделя.
Ее судьба — под аркой этого дворика,
и уже неизвестно, было ль всё это,
иль ничего и не было...

Пятиэтажка. Теплится окно.
Мерцает лампочка под ветхим абажуром,
под ним идет счет времени, оно
в причудливые множится фигуры,
одни, скуля, сбиваются в углу,
другие — прыг клубком на пианино.
Хозяин стар и не сказать что глуп,
в линялой майке, с рваною штаниной
у треников — сидит он за столом,
альбом листает в голове постылый,
когда семья, два сына — пыль столбом,
жена орет, что суп совсем остынет,
что он ничто, он рохля; нищета
ее достала — щупальцами к горлу,
что хочется — да с чистого листа,
что тот богат, умен, что будет город
иной, где жизнь ее забьет ключом,
где сыновья его окончат школу,
родят детей... Но он-то здесь при чем?
Его ждут водка, сало, дядя Коля —
сосед, с которым выпьет, кулаком
ударит в стену, то есть по картону,

вся жизнь — картонный домик. Не знаком
ни этот стол, ни лампа. Камертону
не выдать даже с призвуками «ля».
Вновь ластится к ногам больное время.
А он не сможет с чистого... С нуля....
Уже не попадет ногою в стремя,
в стремящийся поток людской, он – вне:
рысак не тот, и сбруя износилась.
Сосед на джипе, то бишь на коне,
соседка в шубе — мужа упростила.
А у него лишь память — всё добро,
ее, увы, не сдать в комиссионку,
не выдохнуть, не выплюнуть. Одно
осталось — отойти в сторонку
и, голову руками обхватив,
под старым желто-красным абажуром
горланить песни на один мотив,
не открывая дверь ментам дежурным.

Ане

Непрозрачную пленкой заклеены окна,
жизнь снаружи виднеется серой и блеклой
и довольно скупой — изнутри.
Коммуналка затихла — проснулся ребенок,
что-то вспомнил дневное и шепчет спросонок —
на улыбку его посмотри.
А соседки лукавят: «Ты замуж не вышла?»
Будто им из-за стенки картонной не слышно,
как стоит у тебя тишина
возле двери и после еще — у дивана,
а вставать снова в шесть — до обидного рано,
и ворочаться до утра.
А на кухне спросонок томятся соседи.
«Мы уедем отсюда, клянусь, мы уедем», —
шепчешь зло и кусаешь губу.
И в толпе сослуживцев спешишь на работу,
где не знают, откуда ты, с кем ты и кто ты,
ну и ты о себе ни гу-гу.
А когда начинается речь о квартирах,
о вторых этажах и четвертых сортирах,
ты, конечно, завидуешь им —
многим лишним их метрам жилым.

Человек идет по дороге, ныряет в метро,
его перемещает нутро
крупного ящера, людного изнутри диплодока.
Человек едет долго.
Выходит в поле, плачет, падает на траву:
«Господи, если как-то не так живу,
Научи, как надо!
Меня пожирают черви,
огни
душного города,
спаси, сохрани,
избавь от терпкой тоски вечерней».
А вокруг тишина, лишь бисерный стрекот цикад,
человек обмануться рад,
что услышат его, утешат.
Он идет по дороге,
в ногу с ним движется ад,
и уже раздастся скрежет.

В Замоскворечье — храмов купола,
в Замоскворечье — явь совсем иная.
Мне чудится, здесь старая Москва,
стою в смятенье странного родства,
московских улиц старины не зная.
Я — только гость, не ведавший корней,
не помнящий селения и рода.
Каких времен, каких чужих кровей,
без ориентиров выхода и входа.
Я — так, я просто в щелку поглазеть
и выдохнуть огромный шумный город —
котел амбиций, горечи газет,
но вновь вдыхаю, обжигая горло.

Если идти по Тверской всё вниз и вниз,
не свернув на Никитскую, до Воздвиженки не дойдя,
понимаешь, что так вот движет и тащит жизнь —
лишь вперед и вперед в слюдяной полосе дождя.
Иногда снегопад, ураган или другой катаклизм,
иногда истерика, слезы, будто сердце твое кроют.
И тогда понимаешь, что это вот — тоже жизнь,
вот такая больная, трудная, но твоя.
И тогда повернешь назад, развернувшись спиной к
Кремлю,
потому что в горку труднее всегда пути,
и пойдешь к Маяковскому — на десятку свою,
на 10-й троллейбус. А куда же тебе идти?!
И поедешь потом по Садовому и поймешь,
как прекрасна в вечернем свете твоя Москва.
Ты живешь на свете, и счастье, что ты живешь!
По Тверской пусть катится долу твоя тоска.

Вот так и вспомнится потом:
мы — три фигуры в зимнем поле.
Кобель, виляющий хвостом.
Внутри ни радости, ни боли.
Прогулка, и почти что март,
пытаюсь догонять собаку,
а позади — отец и мать,
а впереди еще, однако,
полжизни — поле перейти
по насту снежному, по корке,
где каждый шаг — провал почти
туда, куда уходят корни,
куда уходят тихо все
любимые неумолимо.
Прогулка в средней полосе,
машины пролетают мимо.

Душа моя птичья всё рвется из тела вовне.
Ну что тебе, милая, здесь, у меня, не хватает?
Присядь на плечо, и поищем забвенья в вине,
пождем-подождем, глядь — и снег потихоньку
растает.
Бульвары в цвету, и давно прилетели грачи,
такая теплынь, что гулять и гулять по аллеям.
Ты хочешь лететь, я с тобой, отрываюсь почти,
с земли воспарив, упадаю опять на колени.
Мне не улететь, не оставят меня голоса.
Зима отошла, но остывшие стены не греют.
Побудь, не спеши, посиди на плече полчаса,
я тоже тебя побаюкаю и пожалею.
Ты — малая птаха, и биться тебе в кулаке
суровом, чужом, костенеть, имена забывая.
Без памяти проще, удобней лететь налегке,
по ветру стремиться и вторить ему, завывая.
Лети, не держу, а когда-то и я научусь
не помнить, не звать, не стучаться в закрытые двери.
Пока же стенаю, зову, колотком колочусь
и лоб разбиваю, и руки себе, и колени.

Проснешься: за окном сирень,
а на окне — герань.
И впереди — огромный день,
еще такая рань.
Тумана ватные куски
повисли вдоль реки.
И думаются пустыки,
но это — пустыки.
Над домом ласточка кружит,
а на пионе шмель жужжит,
и нужно *просто мудро жить*,
дышать, покуда жив.

Умба

Ольге Сульчинской

Здесь ощущение света края
понятней и ясней.
И кажется, что жизнь чужая
реальнее своей.
Бредешь, как тень, по белу снегу,
не званная в дома,
чьи крыши заметала слепо
кудельница-зима.
Скрипят под тяжестью ботинка
брусчатые мостки,
и с елок ледяная паутинка
ложится на виски.
И неба синего, ночного
глубины далеки.
Из тягостного, из земного,
рождаются стихи.

Рождество

Снег, а в проталинах — черное крошево,
ближе к дороге — огни.
Друг, не грусти и не требуй хорошего,
люди в печали — одни.
Как рассветет, станет ясно и радостно,
жить вострепнется душа.
Ох уж все эти загульные празднества:
жизнь во хмелю хороша!
После стоишь у разбитого, трещины —
в мыслях, пустоты — в речах.
Что там поет эта светлая женщина,
что-то про милость в очах?
Звон растекается, улица светится,
тянется к храму народ.
Вот бы еще с ней когда-нибудь встретиться —
с той, что так дивно поет.

Содержание

Первая часть. Последнее солнце.

Предисловие	5
«Мне снится, что я сельский почтальон...»	6
«Прощаться на крыльце с последним солнцем в кронах...»	7
«На работу — лето, с работы — осень...»	8
«Осень: зябко, сыро, в монастырь поеду...»	9
«Я звоню ветерану, он не из нашей семьи...»	10
«А я ее не помню похорон...»	11
«Отца забрали. Мы бегом в подвал...»	12
«Открываешь окно, думаешь — листопад...»	13
«Дожди уходят к лесу за рекой...»	14
«И приходило воскресение...»	15
Куркино	16
«Приготовься к главному, не жалея ни времени, ни трудов...» ..	17
«Никому не звони — напиши стишок...»	18
«А мне будет снится, и снится, и снится пустынный дом...»..	19
«Не жимолости голубое веретено...»	20
«Бывают дни тугие, как тоска...»	21
«Я любила тебя, как ногами уходят в песок...»	22
«После драк не машут кулаками...»	23
«Птицелова город лежит от меня вдали...»	24
«Врастать корнями в ледяное дно...»	25
«Это озеро-море создано кем-то свыше...»	26

Вторая часть. Холод.

«А ему, наверное, хочется пирогов...»	29
«На рынке в Тарту купить зеленые носки...»	30
«Всё говорит о нём: обычные предметы...»	31
«И Дербентскую крепость, и покои Кашипы-короля...»	32
«Козерожья зима настагает, ступает на пятки...»	33
«Хочется, чтобы с утра — мороз, чтобы ты пришёл...»	34
«А как же любовь?..»	35
«Сколько можно уже умирать: распахни глаза...»	36
«По застывшему озеру, крытому корками льда...»	37
«Я чищу снег, его здесь намело...»	38
«И уйти не уйдешь из судьбы не взаправду своей...»	39
«Из стылого дня в ледяное нутро постели...»	40
«Каждый год примиряешься с февралем...»	41
«На дороге зимней — грязь, приглядишься — соль...»	42
«Где-то под левой твоей ключицей — дом...»	43
«Я молю тебя: пожалуйста, приезжай...»	44
«Привези мне в шкатулке воздух, луну в горшке...»	45
«Не объяснить словами...»	46
«Я хочу забыть тебя, выбросить...»	47
«Эта жизнь за окном, эта осень, и кухня, и свет...»	48
«В ресторане «Мята» — маленькие чайнички...»	49
«Уступлю тебе ужин, ведь ты как-никак мой гость...»	50
«Вечерами приходит черная курица...»	51
«И ненужность всей бренности бытия...»	52
«Дело даже не в ней, не в тебе, не во мне, а кроме...»	53

Третья часть. Мазурский зверь.

«Памяти нужно жирное вещество...»	56
«Идол будет разрублен стальным острием топора...»	57
«У Иосифа — Мужа Матери, но не Отца...»	58
«Не доехав в Печоры и до Соловков...»	59
«Мазурский зверь — он дышит под водой...»	60
«Медной монеты мельканье меняет суть...»	61
«О, диковинной рыбой в серебряной чешуе...»	62
«Дева с глазами тревожной птицы...»	64
«Век 20-й скуп был на подарки...»	66
«Летящий снег успеть заморозить...»	67
«Тело ма-аленькое, и маленький нужен гробик...»	68
«В списке ушедших становится больше имен...»	69
«В мире разбилось стекло негромко...»	70
«Нет Руси больше Киевской, сколько не голоси...»	72
«На безрыбье рыба даже ты. Человек...»	73
«Когда уже не спасешься оксолиновой мазью и компрессами на лицо...»	74

Четвертая часть. Световой день.

Американский цикл

Ниагара	77
Портленд. 4 июля. Печально-юмористическое	78
Аляска	79

На площадке кто-то варит щи...»	80
«Зеркала отражают паутину ранних морщин...»	81
«Уведи меня в Питер, судьба...»	82
«Отсидишь целый день на работе...»	83
«Брошу работу, уеду на Монерон...»	84
«Мне 35, я — сохнущая ветка...»	85

Дочка

I. «Злая ты», — говорила Оленьке мать...»	86
II. «Он говорит: «Ты – моя дочка, ты – моя птичка»...»	87
«Все это — сор и грязь, содом и сор...»	88
«На улице ста колодцев совсем темно...»	89
«Чистят дворники снег по ночам...»	90
«Я видела черную рыбу в лоне реки...»	91

Пятая часть. Почти что март.

«Мальчик делает человечков из туалетной бумаги...»	94
2010	95
«В квартире этой жили у черты...»	96
«Был Новый год, один из тех еще...»	97
Кузема В.И.	98
«В доме на набережной очень светло...»	99
«Жили без Турций-Египтов: дача и лес за калиткой...»	100
«Жизнь замирает за вами и глохнет...»	101
«Какой-то смутный, страннолицый день...»	102

«Холодом дышит город. Ночь. Ледоход...»	103
«Пятиэтажка. Теплится окно...»	104
«Непрозрачную пленкой заклеены окна...»	106
«Человек идет по дороге, ныряет в метро...»	107
«В Замоскворечье – храмов купола...»	108
«Если идти по Тверской всё вниз и вниз...»	109
«Вот так и вспомнится потом...»	110
«Душа моя птичья все рвется из тела вовне...»	111
«Проснешься: за окном сирень...»	112
Умба	113
Рождество	114

Литературно-художественное издание

НАТАЛИЯ ЕЛИЗАРОВА
СТРАНА БУМАЖНЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ

Автор человечков Вадим Антонюк

Верстка Ирины Рябчиковой

Подготовка оригинал-макета —
издательство «Арт Хаус медиа»

ISBN 978-5-9908945-7-0

Подписано в печать
Формат 60x70/16. Бумага офсетная.
Печать цифровая. Печ. л. 5,94
Тираж 300 экз. Заказ №

ООО «Арт Хаус медиа», Россия, 125047,
Москва, 3-я Тверская-Ямская, д.21/23, кв.26

Отпечатано в ФГУП Издательство «Известия» УД ПРФ
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 6

Книги издательства «Арт Хаус медиа»
вы можете заказать по адресу
на странице в Фейсбуке «Арт Хаус медиа»

volodarovna@yahoo.com
по телефону: +7 (965) 318 47 32

Купить книги издательства можно в магазинах Москвы

ArtHouse
media